

О Маяковском

История движется борьбой. Однако счастливы те возвышенные эпохи, когда над могилами недавних врагов с уважением склоняются головы и знамена. На нашу долю такого счастья не выпало. Перед могилами Ленина, Азефа, Дзержинского не преклонишься. Тяжкая участь наша — бороться с врагами опасными, сильными, но недостойными: даже именно своей недостойностью особенно сильными. И это даже в областях, столь, казалось бы, чистых, как область поэзии. До наших времен в поэзии боролись различные правды — одна правда побеждала другую, добро сменялось иным добром. Врагам легко было уважать друг друга. Но в наше время правда и здесь столкнулась с самой ложью, за спиной наших врагов стоит не *иное добро*, но сама сила зла. Восемнадцать лет, с первого дня его появления, длилась моя литературная (отнюдь не личная) вражда с Маяковским. И вот — нет Маяковского. Но откуда мне взять уважение к его памяти?

* * *

Русский футуризм с самого начала делится на две группы: эгофутуристическую, проводимую Игорем Северяниным, и футуристическую просто, во главе которой стояли покойный В. Хлебников, Крученых и Давид Бурлюк с двумя братьями. И взгляды, и цели, и самое происхождение у этих групп были различны. Объединяло их только прозвище, заимствованное у итальянцев, но, в сущности, насильно пристегнутое, особенно к северянинской группе, которую, впрочем, мы оставим в покое: она не имеет отношения к нашей теме.

Хлебниковско-крученевская группа базировалась на резком отделении формы от содержания. Вопросы формы ей представлялись не только главными, но и единственно существенными в поэзии. Это естественно толкало футуристов к поискам самостоятельной, автономной или, как они выражались, «самовитой» формы, которая именно ради утверждения и проявления своей «самовитости» должна была всемерно стремиться к освобождению от всякого содержания. Это, в свою очередь, вело сперва к вне-смысловым словосочетаниям, а затем, с той же последовательностью, к провозглашению «самовитого слова» — слова, освобожденного от смыслового содержания. Такое самовитое слово и было объявлено единственным законным материалом поэзии. Тут футуризм подошел к последнему логическому своему выводу — к так называемому «заумному языку», отцом которого был Крученых. На этом языке и начали писать футуристы, но довольно скоро соскучились. Обесмысленные словосочетания по существу ничем друг от друга не разнились. После того, как было написано классическое «Дыр бул щыл», писать уже было нечего и не к чему: все дальнейшее было бы лишь повторением. К концу 1912 или к началу 1913 г. весь путь футуризма был пройден. В сущности, осталось лишь замолчать.

В ту пору, на вечерах Свободной эстетики, появился огромный юноша, лет девятнадцати, в дырявых штиблетах, в люстриновой черной рубахе, раскрытой почти до пояса, с лошадиными челюстями и голодными глазами, в которых попеременно играли то крайняя робость, то злобная дерзость. Это и был Владимир Маяковский, ученик Школы живописи и ваяния. Он чаще всего молчал, но если раскрывал рот, то затем, чтобы глухим голосом и трясущимися от страха губами выпалить какую-нибудь отчаянную дерзость. На женщин он смотрел с дикой жадностью.

Маяковский пристал к футуристам. На первых порах он, как будто, ничем особенно среди них не выделялся:

Улица —
Лица у догов годов резче.

Это было «умереннее», нежели «Дыр бул щыл», но в том же духе. Вскоре, однако, Маяковский, по внешности не порывая с группой, изменил ей глубоко, в корне. Как все самые тайные и глубокие измены, и эта была прежде всего — подменой.

Маяковский быстро сообразил, что заумная поэзия — белка в колесе. Практическому и жадному дикарю, каким он был, в отличие от полуумного визионера Хлебникова (которого кто-то прозвал гениальным кретином, ибо черты гениальности в нем, действительно, были, хотя кретинических было больше), от тупого теоретика и доктринера Кручных, от несчастного шута Бурлюка, — в «зауми» делать было, конечно, нечего. И вот, не высказываясь открыто, не споря с главарями партии, Маяковский, без дальнейших рассуждений, на практике своих стихов, подменил борьбу с содержанием (со *всяким* содержанием) — огрублением содержания. По отношению к руководящей идее группы то было полнейшей изменой и поворотом на сто восемьдесят градусов. Маяковский незаметным образом произвел самую решительную контрреволюцию внутри хлебниковской революции. В самом основном, в том пункте, где заключался весь пафос, весь бессмысленный смысл хлебниковского восстания, в борьбе с содержанием, — Маяковский пошел хуже, чем на соглашательство: не на компромисс, а на капитуляцию. Было у футуристов некое «безумство храбрых», они шли до конца. Маяковский не только не пошел с ними, не только не разделил их гибельной участи, но и преуспел. Он уничтожил все, во имя чего было им выкинута знамя переворота, но, так сказать, переведя капитал футуризма, его рекламу, на свое имя, сохранил славу новатора и революционера в поэзии.

* * *

«Заумь» свидетельствовала о жуткой духовной пустоте футуристов. Но каким бы страшным симптомом она ни была, все же в ней заключалось нечто бесконечно более принципиальное в эстетическом отношении, нежели в поэтике Маяковского. На все эстетические «искания» футуристов Маяковский наступил ногой. Его поэтика — более чем умеренная: она вся заимствована у предшествующей поэзии. Если бы Хлебников, Брюсов, Уитмен, Блок, Андрей Белый, Гиппиус, да еще поэзия раешников отобрали у Маяковского то, что он взял от них, — от Маяковского осталось бы пустое место. Но его *содержание* было ново.

Поэзия не ассортимент красивых слов и галантерейных нежностей. Безобразное, грубое, пошлое суть такие же законные поэтические темы, как и все прочие. Но даже изображая грубейшее словами грубейшими, пошлейшее — словами пошлейшими, поэт не может огрублять или опошлять мысль и смысл поэтического произведения. Грубость и низость могут быть сюжетами поэзии, но не ее внутренним двигателем, не ее истинным содержанием. Поэт может изображать пошлость, грубость, глупость, но не может становиться их глашатаем. Маяковский первый сделал их не материалом, но целью своей поэзии. Пустоту, нулевую значимость заумной поэзии он заполнил новым содержанием: звериным, «простым, как мычание». Несчастный революционер Хлебников кончил дни в неизвестности, умер на гнилых досках, потому что был бескорыстен, ничего не хотел для себя и ничего не дал улице. «Дыр, бул, щыл!» Кому это нужно? Это еще, если угодно, романтизм. Маяковский дал улице то, чего ей хотелось. Богатства, накопленные человеческой мыслью, он выволок на базар и — изысканное опошлил, сложное упростил, тонкое огрубил, глубокое обмелил, возвышенное принизил и втоптал в грязь.

Он, однако, не сразу встретил истинное признание. Толпа, наполнявшая перед войной митинги футуристов, была разношерстна: были тут эстетствующие бездельники, разрешатели половой проблемы, замоскворецкие мамыши, боящиеся отстать от века и урбанизма, их дочери, танцующие танго, косматые вегетарианцы и эсперантисты, в одном исподнем и без сапог, помощники присяжных поверенных, зубные врачи, гимназисты, курсистки... Когда вождь футуристов являлся на эстраде Политехнического музея и гремел:

— Позвольте представиться: Владимир Владимирович Маяковский — сифилитик! — вся эта публика, разумеется, «чутко прислушивалась» к «новому слову искусства», отчасти недоумевала, отчасти сердилась, отчасти восхищалась, — но настоящего с ней общения у Маяковского получиться не могло: послушав, она спокойно разбредалась по домам — чай пить и спать.

С началом войны открылась для Маяковского настоящая улица. Там, где теперь памятник «Октябрю» и московский совдеп, а тогда были — памятник Скобелеву и генерал-губернаторский дом, став на тумбу, читал он стихи, кровожадные и немецкие «до отказа»:

О панталоны венских кокоток
Вытрем наши штыки!

И, размахивая плащом, без шапки, вел по Тверской одну из тех патриотических толп, от которых всегда сторонился патриотизм истинный. Год спустя, точно так же, водил он орду громил и хулиганов героическим приступом брать витрины немецких фирм. А еще год спустя, уже в Петербурге, в квартире Горького, он бился в истерике и умолял спасти его: дошла очередь до ратников второго ополчения. Его пристроили чертежником в какую-то инженерную часть.

* * *

«Маяковский — поэт революции». Ложь! Он так же не был поэтом революции, как не был революционером в поэзии. Его истинный пафос — пафос погрома, то есть насилия и надругательства над всем, что слабо и незащитно, будь то немецкая колбасная в Москве или схваченный за горло буржуй. Он пристал к октябрю именно потому, что расслышал в нем рев погрома:

Ешь ананасы,
Рябчиков жуй, —
День твой последний приходит, буржуй!

Для этого и многого тому подобного Маяковский нашел ряд выразительных, отлично составленных формул, абсолютно прозаических по существу, но блистательно маскированных под поэзию (для чего тоже надо иметь талант — и незаурядный). В награду за это и в награду за то, что содействовал он удушению всякого «идеализма», угашению всякого духа, — поддельные революционеры с ним поделились рябчиками, отнятыми у буржуя, провозгласили его поэтом революции и даже делали вид, что верят в революционную биографию, которую он себе сочинил.

Время шло. Было забавно и поучительно наблюдать, как погромщик незащитных превращался в защитника сильных, революционер — в благонамеренного охранителя советских устоев, недавний бунтарь — в сторожа при большевицком лабазе. Ход, конечно, естественный для такого революционера, каков был Маяковский: от «грабь награбленное» — к «береги награбленное».

Став советским буржуем, Маяковский стал прятать революционные лозунги в карман. Точнее — он вырабатывал их только для экспорта. Он призывал к революции мексиканских индейцев, нью-йоркских рабочих, китайцев, английских шахтеров. «Социальных противоречий» в нэповском СССР Маяковский не замечал, а если на что обрушивался, то лишь на «маленькие недостатки механизма», на «легкие неуклюжести быта». Темы его постепенно мельчали. Он, попиравший религию, любовь к родине, любовь к женщине, — предался борьбе с советским бюрократизмом, с растратчиками, со взяточниками, с протекциями, с хулиганством. Он дошел до такой буржуазной «сознательности», что в пролетарской республике рекламировал накопление: «Каждый, думающий о счастье своем, покупай немедленно выигрышный заем». «Спрячь облигации, чтобы крепили они. Облигации этой удержу нет: лежит и дорожает пять лет».

«На любовном фронте», бывало, Маяковский, что хотел, то и делал с «буржуазной моралью», благо она в ту пору плохо лежала. А теперь — «надо голос подымать за чистоплотность отношений наших и любовных дел».

Бывало — нет большей радости, как «сбросить Лермонтова с парохода современности», унижить высокое, оплевать дорогое. Теперь Маяковский стал охранять советские авторитеты не только от оскорблений, но даже от фамильярности. Почтительное сердце Маяковского сжималось, когда он видел объявление:

Гигиенические подтяжки
Имени Семашки.

И он спешил обратиться к согражданам: «Я взываю к вам от всех великих: милые, не обращайтесь с нами фамильярно!» Сбрасывайте Лермонтова — берегите Семашку.

Так, постепенно, переходя от одной мешанско-советской темы к другой, увязая в них, бывший певец хама бунтующего превращался в певца при хаме благополучном: в воспевателя его радостей и печалей, в сберегателя его жизненных благ и целителя недугов. Работу по охранению советских устоев Маяковский не только считал выполнением «социального заказа», но и простодушно, неприкровенно связывал с получением денег. Недаром, говоря о низком уровне мексиканской поэзии, он в путевых записках своих рассуждает: «Причина, я думаю, слабый социальный заказ. Редактор журнала “Факел” доказывал мне, что платить за стихи нельзя». Недаром также, зазывая Горького в Россию, Маяковский, в виде самого убедительного аргумента, писал:

Я знаю — Вас ценит и власть, и партия,
Вам дали бы все — от любви до квартир...

* * *

Уже года четыре тому назад Маяковский почувствовал, что стареет, выходит в тираж, что стихотворные фельетоны, в которые он ввязался, роняют его в глазах даже советской литературной молодежи, что близится переоценка и неизбежное свержение с трона.

Он начал брюзжать на молодежь и выставлять напоказ былые свои заслуги: это было уже верным признаком старости. Он стал оплакивать «доброе старое время», скорбеть о забытых заветах, жаловаться на упадок идеалов:

С молотка литература пущена.
Где вы, сеятели правды или звезд сеятели?
Лишь в четыре этажа халтурщина...
Нынче стала зелень веток в редкость,
Гол
Литературы ствол.

От общих рассуждений о падении «нынешней литературы» Маяковский пытался переходить в наступление, высмеивая и объявляя бездарностями более молодых поэтов. Доставалось Казину, Радимову, Уткину, Безыменскому — всем, кого выдвигала советская критика и в ком Маяковский видел своих соперников. И, наконец, — верный, последний признак непочтенной старости: заигрывание с молодежью: «Я кажусь вам академиком с большим задом?» — спрашивает Маяковский — и тут же заискивающе предлагает: «Оставим распределение орденов и наградных, бросим, товарищи, наклеивать ярлычки».

Уже с той поры было ясно, что Маяковский кончен. Даже то небольшое, хоть и шумное, что в свое время он умел давать, стало делом далекого прошлого. Скромный запас его возможностей был исчерпан. Всего за пятнадцать лет литературной работы он успел превратиться в развалину. Неукротимый новатор исписался вдребезги и с натугой перепевал сам себя. Конечно, было бы слишком легко все это задним числом угадывать и предсказывать теперь, когда литературная и жизненная судьба Маяковского совершилась.

Но я два с половиной года тому назад писал о нем в «Возрождении»: «Лошадиного поступью прошел он по русской литературе — и ныне, сдается мне, стоит уже при конце своего пути. Пятнадцать лет — лошадиный век».

* * *

«ВСЕМ!

В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.

Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.

Лиля — люби меня.

Товарищ правительство, моя семья это — Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если Ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.

Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.

Как говорят —
«Инцидент исперчен»,
Любовная лодка
Разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете
И не к чему перечень
Взаимных болей,
Бед
И обид.

Счастливо оставаться.

Владимир Маяковский.

12. IV. 30 г.

Товарищи вапповцы — не считайте меня малодушным.

Серьезно — ничего не поделаешь.

Привет.

Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться. *В.М.*

В столе у меня 2. 000 руб., внесите в налог. Остальное получите с ГИЗ. *В.М.*».

Это писано 12-го, а он умер 14-го. Значит, два дня носил в кармане это длинное, мелочное письмо, с плохими стихами, с грошевыми шуточками, с советским говорком, с подчеркиванием советской благонамеренности, с многим еще таким, о чем говорить не хочется.

Отчего именно он покончил с собой — не все ли равно? «Любовная лодка разбилась о быт». Он просит на эту тему «не сплетничать» — уважим его последнюю волю.

Не будем, однако же, думать, будто конец Маяковского в чем-нибудь, кроме внешности, схоже концом Сергея Есенина. Там было большое, подлинное мучение души заблудшей, исковерканной, но в глубине — благородной, чистой и поэтической. Ни благородства, ни чистоты, ни поэзии нет во всем облике Маяковского. Есенин умер с ненавистью к обманщикам и мучителям России — Маяковский, расшаркавшись, пожелал им «счастливо оставаться».

<1930>